

ТРИ ДНЯ

Солнце, песок, черномазые арабы, песок, верблюды, пальмы, песок, кактусы. Где-нибудь в другом месте не арабы, а турки, и опять — солнце, верблюды, песок. Повсюду одинаково звонко, ослепительно-ярко. И вечный шелковый шум волн при переезде из порта в порт, — этим шелком закутаны глаза, уши. Под конец совсем падаешь под тяжестью впечатлений, сквозь шелк все уже еле видно, еле слышно. Всякие разговоры начинаются с одного: «А вот, когда мы придем в Одессу...»

И наконец — пришли. Солнце садится, значит — опоздали: таможенный досмотр будет только завтра, а до тех пор на берег нельзя.

— Полюбуйтесь-ка вот, издали. Близок локоток, а не укусишь, — подхихикивает старший механик. Борода у него седая, длинная, как у Моисея-пророка; медленно ее поглаживает.

Шум улиц легко бежит к нам по воде. Золотеет над городом облако пыли. Вспыхнули красным верхушки наших мачт, стекла в иллюминаторах. Погасли. Темнеет.

Два белых военных судна — резкие, вырезанные в синем полотне сумерек.

— А эти военные — зачем здесь?

— Захотелось господам офицерам одесских девочек посмотреть, ну, вот и пришли... — Это опять механик: он все знает, все и всегда. Берет бинокль, смотрит: — Броненосец и миноноска, севастопольские, — говорит он.

Мы спускаемся спать в каюты. Ночь наивная, тихая, обыкновенная, еще не подозревающая, что в ее темную глубину уже брошена искра, что она вот-вот запылывает...

Утром — чуть свет поднялась беготня на палубе, гвалт; таможенные пришли. С какими-то крючьями, как черти в аду, копаются. Обыкновенный, пыльный, потный плетется день. За обедом все торопятся: поскорей бы кончить — и в город. На берегу успел побывать только седобородый механик: везде у него приятельства и знакомства, он исхитрился выбраться с утра, еще до таможенных. Теперь сидел и рассказывал всякие новости, были и небылицы.

— Хе... Торчите вы тут и ничего не знаете! А там дела, там дела! Какие? А такие, что на броненосце на этом всех офицеров повыкидали за борт. Лейтенантик матроса у них ухлопал, ну и пошло писать... Думаете — вру? Да подите вы к черту!

За столом улыбались: знали, любит старик удивить. Ну, пускай, пускай потешится...

После обеда поймал меня Григорий Васильич, машинист, затащил к себе в каюту, прикрыл дверь. На правой руке не было у него двух пальцев, всегда прятал руку, а сейчас забыл все: говорил, размахивал рукою, мелькали перед глазами култышки.

— Слушайте: он на Новом молу лежит. Факт. И народу туда идет — тьма-тьмущая. Такое начинается, что я и не знаю... Слушайте, пойдете, а?

Григорий Васильич — человек положительный. Значит, и правда — что-нибудь... Весело-тревожно начинает биться сердце.

Мы быстро идем по берегу по-над морем. Солнце на небе ярко празднует, ветер стих, на море взглянуть нельзя — ослепнешь.

Переходим какие-то пути, спотыкаемся, свертываем по серой улице пакгаузов — и вдруг попадаем неожиданно в поток людей, спускающихся сверху из города в порт. Что-то похожее на крестный ход: так много, такие разные. Панамы, босонogie ребятишки, солдаты, перчатки, шелковые зонтики, опорки, воротнички...

Идем. Чей-то голос сзади — неуклюжий и медлительный:

— Воны, черноморьци, давишь говорыли, что к нам прыйдут. Вот и прыйшли.

Я обернулся: рябой солдатик поучал своего товарища.

— А офицеров воны и не побили вовсе, тильки заперли. Я ж знаю. Я...

И нету: пропал в толпе. Мимо — уж новые: студент и девица. Девица прижималась к студенту и, должно быть, вздрагивала.

— «Потемкин», — говорил студент, — самый новый броненосец. Понимаешь, если он на самом деле — так ведь это...

Наш «крестный ход» свернул на Новый мол. Здесь было ближе к какому-то неведомому центру и оттого тише, серьезней.

Около огромной горы деревянных ящиков стояли неподвижные фигуры, как будто сторожили.

— Вы что тут? — спросил Григорий Васильич.

— А вот — около водки. С монополькой ведь ящички-то: не дай Бог — пронюхают! Мы от комитета.

На фонарь взгромоздился юноша в мягкой рубашке и черном пиджаке, глаза у него девичьи, синие. Поднял над толпой руку:

— Товарищи! Этот день...

Его слушали. Голова кружилась от солнца, от людей, понять что-нибудь мешала неотвязная мысль, такая неподходящая: «Но ведь в черном пиджаке ему, должно быть, отчаянно жарко...»

В толпе прорубилась какая-то просека, улочка. По ней двигались вперед, к непонятной цели, проходили обратно. И во всем этом был свой странный порядок.

Пошли по этой живой улочке и мы с Григорием Васильичем. Вместе с медленными рядами двигались к голове мола. Вдруг впереди нас сбросили шапки. Стало совсем тихо и жутко.

— Ох, да вот он, вот он, батюшка... Красавец-то какой лежит, как живенький! — запрочитала рядом баба в платке.

На самом конце мола на посланных флагах лежит матрос. Желтое, мертвое, спокойное лицо. Всегда страшные днем огоньки восковых свечей. Около — говорят только шепотом. Два белых матроса, его товарищи, в изголовье. Сбоку, совсем близко, как сидела бы мать, сидит босяк — опухшее, налитое лицо, лоб, перевязанный тряпкой. Босяк качает головой, морщится — может быть, плачет.

Кто он, зачем?

Бросают деньги на тарелку возле покойника, отходят в сторону. Читаем издали приколотый к груди лежащего лист бумаги — под солнцем очень белый. Видны только последние слова: «...за мою смерть».

Вдруг благоговейное молчание разрывается резким окриком:

— Шапку долой, эй, ты!

На господина в котелке кричит один из матросов. И все, кто стоят поближе и слышат, тоже:

— Эй, долой! Оглох, что ли?

Господин в котелке, криво улыбаясь, обнажает голову. Опять тишина. Только баба в платке всхлипывает:

— Красавец-то какой, батюшки, молодец-то...
О, Господи!

Поливает сверху солнце. Желтые свечи, острый и желтый нос мертвеца, молитвенно, жутко... И должно быть — такая же новая, необыкновенная стала сейчас вся Одесса.

По человеческой просеке, мимо солдат, шелковых зонтиков, мальчишек — мы идем в город. Дерibasовская, Ришельевская... Нет, оказывается — здесь все обычно: нарядные женщины, газетчики, продавщицы цветов, очень тихо и жарко.

— Пить-то, пить-то как хочется. А ведь только вот сейчас и почувял, — сказал Григорий Васильич.

Сели за столик, пили, спешили кончить.

— Слушайте: идем, а?

— Идем.

Не нужно было говорить — куда: куда же сейчас можно идти, как не туда, опять вниз, в порт?

Еще издали мы увидели — шло волнами темное море голов — и гудело:

— А-а-э-э-э...

Бросали вверх шапки, махали руками. Уж можно теперь разобрать — кричали тысячи голосов:

— Е-а-едут, едут, е-э-э...

Мы ли протолкались, или нас вынесло — но только оказались мы скоро у самой воды, на краю набережной. Теперь ясно было видно: от броненосца, резко белого, шел к берегу, к нам, как чайка — легкий и острый — катер. Вот уж можно разглядеть и белые голландки матросов и лица. Пристают.

— Ур-рр-а-а-а-а! — заревело сзади.

Нахлынули, бросились вперед, как бешеные лезли на плечи, куда-то вверх — надрывались: ура-а-а!

Я оглянулся. Высокие железные столбы фонарей были увешаны людьми, — как они взобрались в секунду? — люди махали белым, в воздухе — туча фуражек, шляп. Матросы на потемкинском катере раскрывали рты — тоже, должно быть, кричали, их не было слышно.

Да, матросы, те самые, так близко, внизу. И почему-то отпечатывается навсегда физиономия одного — такая лукавая хохлацкая рожа, со спущенными вниз светлыми льняными усами.

Хохол на катере влез на мостик и замахал рукою: чтобы затихли.

И так же, как он, замахали рукою десятки людей на набережной, вскакивали на тумбы,

кричали: «Ти-и-и-ше, тише!» Удивительно: оно сейчас же утихло — это раскачавшееся, напряженное людское море. Утихли, вставали на цыпочки — услышать хоть одно слово. Все знали: то, что теперь услышат — это будет решительное, страшное.

Матрос на потемкинском катере почесался и сказал:

— Вот бы... это самое... Провьянт нам нужен. Провьянту принесли бы — это вот да...

Так это было неожиданно-житейски, так просто. Засмеялись облегченно:

— Провьянту им неси! Харчей, говорят...

Сразу матросы — это мы все. Что ж, такие же люди: харчи вот нужны им. Правильно.

Катер слегка покачивало. Матросы придерживались багром за сваю. Из толпы очень быстро, как будто всю провизию носили с собой в карманах, начали подтаскивать к берегу кулечки картофеля, булки, колбасу, какие-то неизвестного содержания свертки. Бросали вниз, матросы ловко ловили.

— Будет, будет, спасибо!

Опять влез на мостик хохол с опущенными усами, сложил руки рупором и закричал:

— Братцы, солдатика бы нам теперь! С солдатом нам поговорить надо. Пехотного нам.

Зашевелились, потеснились, выперли кого-то вперед. Я узнал все того же самого рябого солдатика. Рябой подошел, прислонился пузом к перилам